

---

---

Полина МИХАЙЛОВА

# ТОПИТЬ МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ

Рассказ

Мефистофель:  
Он доктор?  
Господь:  
Он мой раб.

*Гёте*

## #1

Об этом сообщили в мае. Жемчужные свечи яблони горели долго, и черемуховый куст на улице Ясневской, который семья Елисея убедительно называла «наш» — каждый при том понимал совершенно, о каком кусте идет речь, — даже он цвел не неделю, как обыкновенно, а две. В общем, было в этой весне что-то настойчивое и даже резкое.

Об этом сообщили в мае — и Еля, конечно, сначала все хотел проверить в Интернете. Потому что кто станет слушать новости подобного масштаба по радио? А особенно в наши дни? Мама позвонила папе и вместо одной рюмки опрокинула в тесто четверть бутылки французского ликера; было слышно на том конце трубки, как топочут в прихожей младшие сестры, черненькие близняшки София и Катя, как разрезается новое, запакованное постельное белье, купленное к весне, и как достается из погреба новый пакет муки. Папа, против обыкновения, закрыл кондитерскую на час раньше; на лето выслали подозрительно короткий список литературы — в общем, ничего не предвещало того, что их город будут топить.

— Мужчина! Мужчина, разве вы так рано закрываетесь? Позвольте... — окликали отца посетители: пожилые и не очень женщины с корзинками (такими корзинками, как будто они заказаны не на «Озоне», а сплетены в самой сердцевине противоречивой, бурной, средневековой Руси) или одинокие, медленные и внимательные, как православные мученики, старцы.

Но мужчина запирал на засов грузную деревянную дверь старинного дома, а его сын Елисей включал Нойза в наушниках. По знакомой до мозолей дороге шли домой: вот беседка, «место силы», как говорил папа — всякий, кто сюда приходил, мог найти ответы на вопросы, которые так сложно формулировать самому, пока их сама не поставит жизнь; вот овражек, где мама с папой впервые говорили о не родившем-

---

Полина Александровна Михайлова родилась в Москве в 2002 году. Окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова. Стихи и проза печатались в журналах «Кольцо А», «Изящная словесность», «ЛИтега», «Млечный Путь» (Иерусалим), «Новый мир», «Пролиткульт», «Южный маяк». Автор сборника стихотворений «Ранка на ладони» (Оренбург: ИД МВГ, 2022).

ся еще Еле; вот речной пляж с синими стрекозами и глиной; вот васильковый сырт, тоже издалека ярко-синий.

В дороге новость, как свежеиспеченную булку, кутали в молчание, чтобы не остыла.

— Этого не может быть! Наш город — утопленник? — вырвалось у мамы, когда папа с Елисеем снимали в прихожей влажные ветровки и папа протягивал маме собранные за монгольским холмом васильки.

Слова так просто и незаметно соскользнули с ее губ, что Еле начало чудиться отсутствие здесь причинной связи: будто сначала существовали мамины убедительные слова, а только из-за них — печальные события; и страшно подумать, что мама бесильна, и все — наоборот.

Взяв телефон мокрыми, не отертыми о полотенце руками, Еля стал забивать в гугл услышанные, полужнакомые формулировки. На телефонном экране оставались капли, сияющие почти космическими, разноцветными радужками изнутри. София ухватила его за плечи и обвила длинными черными косичками шею. Елисею была видна только сестрина родинка над губой, так близко она стояла.

— Сдавайтесь! Вы взяты в плен!

Еля подумал: может, если он сейчас не зайдет в Интернет, все обойдется?

На ужин были тушеные кабачки и запеченная баранина, малиновый закат сквозь вязаные занавески. Мама беспокойно сжимала руку отца; в этот вечер она казалась Еле не мамой, а бабушкой.

«Я еще в Интернете не проверил», — не выходило весь ужин у Елисея из головы.

Когда все легли спать, Елисей, проходя мимо двери в родительскую спальню, замер, как всегда замирал перед этой дверью, слегка нажимая правой ладонью на наличник — старался впитать в себя все добро, настоявшееся за несколько веков в их доме. Домик был старенький, но большой и крепкий, тоже, как и кондитерская, деревянный: за последние семьдесят лет в его края не дошла война, и домик остался цел и невредим. Таких счастливых на Елисейевой родине было много. Прижимая к двери ладонь и ставя поочередно босые ступни на прохладный пол, Еля вдруг почувствовал себя самым успешным человеком в мире, самым ясноокиим из всех пророков. Потому что он, Елисей, кажется, понял, для кого и для чего стоит жить. Для любимых, для дома и для любви.

Елисей обернулся. В сумеречной прихожей висели поварская униформа и постиранные фартучки на завтрашний день. Нередко из-за папиной аллергии весной (но не этой) в первой, ближней, комнате спали и сестры, и Елисей, и мать, а папа — во второй. Отец почасту посреди прохладной весенней ночи, когда чувствовал, что аллергия унялась, переходил к маме и обнимал, долго обнимал ее своими волосатыми потными руками. Однажды, проснувшись посреди черной тесной тишины, Елисей увидел это вдруг и остался неподвижно лежать, хотя донельзя хотел пить: вокруг родителей светился какой-то янтарный, еле заметный ореол, похожий на ауру или нимб. Елисей с тех пор начал думать, что подобно светит любовь. Этой весной папина аллергия совсем ослабла — еще одна странность, которую подметил Елисей.

Оторвав ладонь, прижатую к двери, Еля направился к себе в комнату. Засовывая оконечные ступни под одеяло, на котором знаком был ему каждый рисунок (изображены были неодинаковые огромные подсолнухи на въедливо-зеленом, не выцветавшем с годами фоне), Елисей понял неволью, что не может отделить образ родителей от дома. И образ счастья тоже. Глупец, и почему? Никто — ни папа, ни мама, ни сестры — ни разу не говорили, что быть счастливыми для них означает жить здесь; да это и прозвучало бы безумно, даже одержимо. Однако эта мысль просвечивалась сквозь все их поступки, шла подстрочником под всеми поздравлениями и признаниями,

на ней держалось ощущение сплоченности, избранности и постоянства; что уж говорить о семейной кондитерской. Папа не пропадал на работе днями, а пек шарлотки, куличи, торты, сочники и много чего еще здесь, через улицу; отчасти поэтому мама была всегда весела и безмятежна, хоть и почти больна — десятилетиями степной воздух здешних краев лечил ее. Каждый из семьи негласно и почти тайно дорожил каждым уголком родных мест, сложившихся в экосистему душевного равновесия. В «место силы».

Ломая щиколотки под одеялом, Елисей попробовал это сделать — очертить страшное: представить себя и всех их, свою семью, вне города. Такое, конечно, было наяву и было не раз, когда Елина семья путешествовала по России или за границей: уезжали, например, в Екатеринбург, уезжали в Аахен. Но как будто только дома Еля чувствовал мир во всей его полноте: точно в путешествии жизнь проявлялась только на треть или наполовину, поворачивалась другой, несомненно, интересной и новой, но затемненной стороной, а дома снова освещалась полностью.

«Все чепуха, — думал Елисей, переворачиваясь на живот и забывая одеяло под плечи, — мы никуда друг от друга не денемся, будь мы дома, или на Урале, или в Москве, да хоть на Венере».

С этими мыслями он заснул.

## #2

Их город будут топить. На реке («Какая ж это река, это же море!» — автоматически, как сделал бы каждый в этих краях, убедился Елисей) строят гидроэлектростанцию, а для нее — водохранилище.

— Го-род по-падает... по-падет... в зону затоп-ления. В свя-зи с подня-тием уровня во-ды на две-над-цать метров... — прочла по слогам бегущую строку в телевизоре Катя.

— Какие-то паршивые двенадцать метров — а ломают судьбы, — спокойно сказал папа за утренним чаем, и Елисей впервые услышал от него плохое слово.

С этого момента Еля твердо решил, что помешает застройщикам. Вот только — как?

«Какие старые, боже мой, какие все слова старые! Чего только не делали ими: и отказывали, и нарекали на смерть, и заключали сделки, и лгали, и прощались. Они как замызганные тряпки, старые носовые платки, которые все до сих пор используют в качестве что-нибудь значащей разменной монеты. Нет, такие новости нужно сообщать не этими словами. Грош цена поэтам, раз не придумали еще стоящий событий язык», — думал Елисей по дороге в школу.

В школе строительство водохранилища не обсуждали. Учителя, стараясь делать вид, что ничего не происходит, продолжали вести геометрию и алгебру, историю и обществознание, будто не знали, что уже одной ногой стоят в учебнике истории. Елисей смотрел на одноклассников: с ними тоже придется попрощаться.

Как помешать застройщикам? С самого утра Еля не мог думать ни о чем другом. Он думал об этом на каждом уроке, сидя в классе, чертя на полях тетради круассаны и крендельки и смотря себе между пальцев. Затопление городов давно описано в сети — топили Калязин и Мологу, воспоминания полусломленных и полумистических жителей которых хранятся в архивах; в конце концов, великий потоп описан Пушкиным в «Медном всаднике». Елисей почувствовал, что читай или не читай «Медного всадника» — все равно ничего реальнее, чем он сам и его семья, он не знает. Зачем вообще тогда писать истории, если каждому важнее всего его собственное наводнение?

Нигде, однако, Еля не мог найти информации, пытались ли горожане, почти уже бывшие, как-то повлиять на советскую власть, решившую лишить их дома. Един-

ственный способ влияния, о котором упоминалось, — уход вместе с городом. Елисей содрогнулся.

На истории, убеждаясь в том, что учителя и все-все горожане «одной ногой уже стоят в учебнике», Елисей посмотрел на учительницу. В бежевой футболке и длинной юбке стояла она, пухлая и неотдохнувшая, у доски. Руки ее были бледные настолько, что на первый взгляд Еле показалось, будто на ней белые рукава.

«Она ведь тоже испугается, тоже будет плакать, ютиться у кого-нибудь на плече, скрючивать свои белые запястья, потому что так легче плачется», — думал Елисей.

Учительница подходила к доске спиной, ставя руки на пояс, смеялась чьей-нибудь шутке или остроумному ответу, раскрывая свои лососевого цвета губы, и ничего в ней ровным счетом ничего не выдавало того, что их город будет топить.

После школы, в пять, когда одуванчики начали закрываться, а ветер подул вечерний и ледяной, Елисей отправился в папину кондитерскую. Там-то ему и пришла спасительная идея. Он придумал! Он напишет застройщикам письмо! Переходя через изумрудный овраг, в котором собирались муравьи, васильки и влага, Еля долго смотрел в небо: еще не стемнело, но уже была видна ослепительная Венера; небо было майское, круглое, оно поглощало маленький человеческий мир смелее, чем река поглощает берег, будущее, улицу Ясневскую и мостовые.

### #3

— А может быть, сразу президенту, — рассмеялся папа, — а?

«После моего письма они не смогут не пересмотреть планы!» — ликующе произнес про себя, но не вслух Елисей. И решил.

Елисей ходил по оврагу и сырту, мочил ступни в реке на пляже с синими стрекозами и глиной, задира голову к звездам — все говорило с ним. Еля слушал, как город диктует ему текст, молитву, умоляющую не убивать его, а хотя бы перевезти. Взять дома, мостовые, башни, церкви — и переместить вместе с людьми. Разобрать по камушку и собрать. Разве это сложно? Елисей запечатал всю душу между этих надиктованных городом строк. Там было и описание их кондитерской-пекарни, и даже откровение о странной привычке прижиматься к родительской двери, потому что именно дома живет любовь; и трепет, и паника, и мысли о горожанах, что будут биться без города, как собаки, которых три месяца били током — оповещали о затоплении, — а потом отпустили в никуда.

Через шесть дней письмо было готово. Перепечатано мамой в аккуратенький ворд-файл (Еля подивился собственному открытию, что даже глупые фразы в напечатанном виде приобретают внушительный вид), форматировано и отправлено на почту портала государственных услуг, с которой пришли первые повестки на выселение. Шалость с письмом позабавила семью, и, несмотря на шуточный тон, когда о ней упоминали, все с детским нетерпением ждали ответа. И ответ пришел.

Всем горожанам предоставили жилье в Екатеринбурге, но Елисей уже догадался, почувствовал, что именно они будут переезжать в Москву — почувствовал той ночью, под подсолнуховым одеялом. Об этом и написали. Мама взбивала русое каре похолодевшими пальцами; папа, сидя за столом, тыкал ручкой в чехол от телефона, отчего уголок его стал синим; София, выпучив вострые карие глазки и привстав на носочки, наливала Еле стакан воды; Катя жевала сайку.

«...Предоставим квартиру в Москве по адресу: район Лефортово, Госпитальный переулок, дом 3. Просьба заполнить приложенное согласие на... и указать вес планируемого к перевозке имущества в килограммах...» — высветилось на экране.

— Значит, в Москву, — сказала София и чуть не заплакала, — а как же наша пекарня? Пап, сколько она весит в килограммах?

— Кажется, пекарню придется оставить здесь, — ответил папа.

Елисей, нахмурив рыжие брови (в семье только он и отец были рыжи), бросился было к дивану, на котором лежал телефон.

— Ну, я позвоню им, — с надрывом сказал Еля, — позвоню и все объясню. Они, видимо, не поняли или перепутали с чьим-нибудь наше письмо.

Папа отложил ручку и, оглядывая стены с салатными, пастельно-неброскими обоями, сказал:

— Будет новая жизнь, Еля. Со временем мы и там кондитерскую откроем. Главное, мы рядом, а все остальное — только к лучшему. Не вешать нос!

— Но мы ведь сюда еще вернемся, — подтвердил Елисей, — они чуть-чуть подтопят город, посмотрят и поймут, что поступили неразумно, просто-напросто ошиблись. И все. Город снова наш!

— Ага, сдохлыми рыбами на асфальте, — заметила Катя, и маленький кусочек пшеничной сайки выпал у нее изо рта.

Еля посмотрел на маму. Она снова помолодела. Ей было сорок лет, но детский, озорной взгляд и персиковая, в редких четких родинках, кожа, омолаживали ее до двадцати пяти. Здесь, в городке, в ней не было видно ни признака болезни. Когда на прогулке или после работы в пекарне папа брал ее на руки, она сияла, как девушка. Кажется, они с мужем — папой — действительно верили в то, что в Москве для их семьи начнется новая, прекрасная жизнь. Впервые взрослые оказывались более легкими на подъем, чем Еля. Это удивляло его.

«Почему я так привязан к городу?» — не раз спрашивал он себя.

Елисей чувствовал, что еще усилие — и он сможет взять себя в руки, уехать и быть счастливым, соскрести все варенье надежды со стенок своей раздраженной души. Но что-то — то ли страх, то ли излишняя романтичность, то ли просто-напросто слабость — мешало ему это сделать.

— Когда ты был маленьким, Еля, лет шести или семи — девчонок еще не было, — начала, заметив его задумчивость, мама, — в Москве мы пошли в кинотеатр. Первый раз в 3D. Кино было короткое, тридцать пять минут, показывали море. Морское дно, дайверов, рыб, кораллы. Все было такое пестрое, такое запоминающееся. Ты схватил оранжевую рыбку, которая плыла прямо перед нашими глазами, зажал ее в кулак...

— Да какой кулак — кулачок, такой крохотный, — папа сложил три пальца, как для крещения, и потряс ими, демонстрируя размер кулачка.

— И не отпускал до самого выхода на улицу. Даже пока мы ехали в трамвае, ты все держал ее, держал. А когда кто-то из нас просил разжать кулак, ты ругался. Тебе казалось, что ты веришь настолько сильно, что реальность должна уступить.

— Но в кулаке была рыбка, — вкрадчиво произнес Елисей.

— Потому что папа ее купил. В ларьке, когда мы вышли из трамвая.

— Мам, и в этот раз реальность нам уступит! Мы будем очень просить оставить нам наш город.

— Елисей, ты поступишь в Москве в МГУ... Сестры потом тоже, — ответила тихо мама. — Там большое будущее.

Из открытого окна потянуло сыростью и глиной, мамины русые волосы вздулись и осели. Еля почувствовал, что борется не с государством, не с застройщиками, а с самим собой. Победи он свою склонность к ностальгии — все вмиг стало бы проще. В Москве ведь действительно много хорошего. Пробки, серость и, в конце концов, МГУ.

## #4

Несколько дней подряд после школьных занятий да и во время них из школы, с улицы или из пекарни, пока папа принимал посетителей, Елисей пытался дозвониться до застройщиков. Телефон горячей линии портала государственных услуг, телефон строительной компании, просто телефоны знакомых — все шло в дело. Ничего, кроме коротких гудков; робота: «Скажите один, если.... Скажите два»; ехидных, ироничных ответов: «Вы шутите? Какое письмо? С кем вы собираетесь об этом говорить?» — Елисей не услышал. Лишь один раз ответили порядочно: это была студентка, она оценила порыв Елисея, но не соединила его, с кем нужно, и не поделилась контактами.

До последнего Еля тянул, не желая впускать в себя эту ядовитую мысль, которая, чуть двинься, сразу разбежится по жилам, и потом ее уже не соберешь, — мысль о том, что противостояние не состоялось. Силой своего желания Еля, мужчина, старался растерзать безжалостную машину закона, правительства, планов застройки, узла гидроэлектростанции, наконец, темницы своих собственных переживаний — даже в самолете, казалось, он все еще будет верить, что все это — сон.

Однако в глубине души Елисей понимал, что с переездом у него появляется больше возможностей, а он отрекается от них.

Тем временем в городе стали обнаруживаться первые видимые признаки предстоящих изменений. За считанные месяцы, оставшиеся до переезда жителей, в центре в срочном порядке взорвали каменные и кирпичные постройки: церкви, усадьбы, ратушу восемнадцатого века с музеем. Фундаменты, обугленные и обессиленные, коричневели на коже города, как родимые пятна. Оставшиеся от взрывов горы кирпича и камня старались вывезти, они могли помешать судоходству. Сосны и березы, те, которые еще обнимали руки прабабушек Елисея, валили не сразу: некоторые сплавляли по реке, опираясь на вереницы речных ряжей, как на хребет подводного динозавра; некоторые же оставляли. Постепенно образовывалось ложе нового водохранилища. На васильковом сырте теперь располагались вагончики для рабочих — «дома на колесах», как они сами называли свое жилье. При взрыве церкви Луки Войно-Ясенецкого волна сотрясения дошла и до деревянного пекаренного дома; флигель отца Елисея, в форме худого прыткого петуха с яркими зелеными вставками, упал, расколов надвое ветхое отсыревшее крыльцо.

Дети хорошо чувствуют запахи и атмосферу: они могут с закрытыми глазами определить, где находятся, потому что именно так «пахнет тетин дом», «бабушкин голос» или «мамин пробор». Так, София и Катя чувствовали, что в городе начинает пахнуть чем-то чужим, как будто пришли гости и до ночи не уходят. Они говорили об этом Елисею.

— Если б ты это вписал в письмо, точно бы не приехали, — шепнула как-то София в прихожей, снимая обувь с налипшей, пока чинили крыльцо, грязью.

Вскоре в той же прихожей было не протиснуться от чемоданов и пакетов, стоявших рядом вдоль обеих стен. На Ясневской улице организовали склад для баулов горожан, но семья Елисея не хотела оставлять там свои вещи.

«Интересно, после затопления здесь можно будет построить плавучий дом? — вопрошал Елисей. — А каковы будут цены в инновационной подводной пекарне? Пирожное „Павлова“ с перламутровым речным маскарпоне будет, наверное, дороже ватрушек с водорослями».

День, который все называли «тогда» («тогда и посмотрим», «тогда ты тоже будешь нить?», «когда-когда — тогда»), наступил. Краски города, казалось, еще более поярчили и сгустились: небо под вечер затянулось сочной ультрамариновой пленкой, сби-

тые рабочими березы цвета ликера «Шартрез» (того самого, который мама добавляла в тесто) валялись на приторной виридиановой траве.

Все пакеты были вынесены к крыльцу, и один из них, сиреневый и самый большой, полнился формами для выпечки, насадками для миксера, силиконовыми лопатками, весами, шпателями, поворотными столиками и другими пекарскими принадлежностями. Елисею было жаль кондитерской: не стоило надолго ее оставлять. В Москве они такую, конечно, не откроют, да и времени не будет. Зато откроют будущее, как говорила мама. Но Еле плевать было на это будущее, когда нет ни кондитерской, ни дома со старыми стенами, ни беседки, ни пляжа с синими стрекозами, где степной воздух — самый талантливый врач лор, а глина — лучший ортопедический салон.

Поскольку, обманывая себя, Еля не попрощался с городом, а всего лишь говорил ему до свидания — делать привычное (как при всяком отъезде) ему было легче остальных. Он помогал папе перетаскивать сумки, держал маму за руку около бабушкиной могилы.

— Не успели перезахоронить, — шептала мама, — и как им не совестно кладбища топить, сволочи такие.

По дороге с кладбища Елисей с мамой увидели, как кто-то из соседей роет землянку: молодежь тридцатилетний мужчина поставил на остатки разобранного на бревна дома колонку с регги и, гибко пританцовывая вокруг впивавшейся в землю лопаты, как настоящий растаман, что-то приговаривал поперек музыки. Рядом с мужчиной стояла табличка с деловитым женским почерком: «Раздаем». Раздавали вещи, но поскольку уезжали все, вещи были никому не нужны. Елисей вытянул руки буквой Т, так, как ложатся на снег, чтобы рисовать ангелов.

— Город, если я заживу от тебя подальше, обещаешь, что тогда заживешь и ты?

## #5

Вечером рабочие открыли плотину, и вода стала подступать. В последние часы в доме хотелось нажиться, насидеться, навдохновляться на оставшееся время. Около восьми часов пошли к причалу.

Изначально решено было отправлять людей на теплоходе: проще было погрузить одну тысячу семьдесят три жителя на судно, чем переправлять их за пять километров к ближайшей железной дороге. Кто-то уже получил компенсацию за свой дом, сданный на лом и брус; кто-то стремился разобрать и перевезти все до последнего бревнышка; а те, кто снимал дом в аренду, как семья Елисея, имели возможность снимать квартиру на новом месте.

Причал был заполнен. Вместе с рабочими и жителями из соседних населенных пунктов, тоже затапливаемых, здесь было больше людей, чем все население городка. Стоял почти вечер: солнце уже село, но еще расточало свои последние отблески и не давало спуститься темноте. Еля посмотрел на белый с голубыми полосами теплоход. Он был один из трех на причале: другие два шли, видимо, в другие места. У каждого теплохода, как и у людей, тоже было имя. Матовыми сизыми буквами справа от носа на Елином судне было написано: «Иоганн Гёте».

Пока Елисей перебирал и пересчитывал палубы, что-то отвлекло его внимание. Он заметил девушку, как и он, лет шестнадцати, уже стоявшую на третьей палубе (Еля позже узнал, что самая верхняя палуба называлась «солнечная», а третья — просто «третья»). Морковные волосы, острые локти, сильные, тугие икры. Она была подстрижена под мальчика, и в ее движениях тоже было что-то мальчишеское. Глядя на нее, казалось, она всегда будет дома: в городке ли, на теплоходе ли, где угодно. Девушка была в короткой клетчатой юбке и гольфах, что еще больше подчеркивало ее мяг-

кую силу. Елисей услышал, что она кому-то кричала, и только через некоторое время понял, что ему.

— Как тебя зовут?

Девушка обращалась к нему, она чуть свесилась с палубы и с улыбкой махала ему рукой как старому знакомому.

— Меня? Елисей.

Губки девушки округлились, а брови чуть нахмурились, как будто она во что-то вслушивалась.

— А тебя?

— Есения.

Легкий ток пробежал у Ели по телу и разлился в теплое приятное пятно в области груди. Елисей закрыл глаза. Как будто он стоял у оврага, на васильковом сырте, а из-за горизонта вышло солнце. Рыжее и с мальчишеской стрижкой. Еля подумал, что Есения знает о мире больше, чем он, и близость с ней могла бы вылечить его ожог. И что она ему нравится. Елисей много знал о девушках: пару раз, на хореографии, он даже держал одноклассницу за талию. Но и этих серьезных познаний не хватило бы, чтобы предположить, мог он понравиться Есени или нет. Елисей ощутил то, что не ощущал никогда: Есения могла бы стать его домом. Да, она буквально увозила в себе весь затопленный город таким, каким любил его Елисей. Эти глаза-васильки, как будто только что собранные, эти крепкие икры, точеные, как дерево; эта фигурка, резная и хрупкая, как флигель на пекарне; эти игривые покрашенные глаза.

«Кстати, Есения сокращенно — тоже Еля?»

Когда мама, папа, София, Елисей и Катя зашли на теплоход, уже подтопило мосты и подобраться к теплоходу последним пассажирам можно было только на лодках. Елисей остался на нижней палубе. Все вокруг шумело. Сопел двигатель теплохода, переговаривались люди (говорили о вещах и детях), громыхал под торопливыми ногами трап. Темнело.

Услышали крики.

— Говорят, какие-то старообрядцы не хотят уезжать, — заметил кто-то из пассажиров сверху, — их же затопят целыми семьями вместе с домами и церквями!

— Неужели наотрез?

— Им дороги места. Привязали или приковали себя к глухим предметам: к столбам, к печам, к могильным памятникам, к батареям. Хотят добровольно уйти из жизни вместе с городом.

— За ними вернуться?

— Вернуться, — осклабился складывающий трап рабочий, указывая натянутыми, чуть не выгнутыми руками на качающиеся в речных волнах ветхие шлюпки, — никто не мешает. Вернуться — оно всегда можно!

Еля сглотнул холодную слюну от этой неожиданной насмешки. Что-то льдистое ударило его по ногам, и он понял, что это вода с кусками глины, взлохмаченная от громадных тяжелых судов.

Попросили спуститься на «теневую» палубу, на ресепшн, тем, кто едет в Москву: после подписания договора им вышлют на электронную почту билеты. Спустились четыре семьи; среди них была и семья Есени. Оказалось, что Есения едет только с сухеньким беленьким стариком, ее дедом; остальные родственники, брат и мама, уже ждут их в Москве. Елисей положил рюкзак в каюту к сестрам и возвратился на палубу.

«Вернуться — оно всегда можно!», «...с дохлыми рыбами на асфальте», — мелькали в голове Елисея дрожащие, перебиваемые шумом ночного майского ветра голоса.

Перед глазами Ели проносились картинки прошлого, настоящего и будущего, меняясь местами в причудливые последовательности. Но он четко знал, что сейчас пе-



ред ним проплывают город и погруженные во мрак окрестные деревни, ряжи — хребет горбатого динозавра, туман и черная трава, а потом будет первый аэропорт, самолет, второй аэропорт в подмосковном городе Жуковском, а за ним задышающаяся электричка.

Теплоход колыхался, срываясь вот-вот с места; Елисея снова била по ногам глинистая вода.

Вдруг один из кусков глины посмотрел на Елю блестящими желтыми глазами.

— Еля, Еля, это котик! — закричала София, тарачившаяся на брата с палубы на три метра выше.

Не раздумывая, Елисей схватил цеплявшегося за борт теплохода котенка. В душевой в каюте сестры отмыли его, и оказалось, что он серо-синий, как грозовая туча. Елисей стоял перед зеркалом каютного туалета.

— Я хочу назвать его Тучик.

Отражение в зеркале, лейку душа, раковину трехануло — и теплоход отчалил.

Еля увозил с собой много: и семью, и Тучика — друга, обретенного только что, и Есению, которая спала сейчас где-то в каюте над или под Елисеем (он чувствовал ее солнечное, девичье тепло; он мысленно обнимал ее, незнакомую, но родную, и знал, что она рядом). Еля увозил гораздо больше, чем потерял, но вовсе не хотел этого замечать.

## #6

В Немецкой слободе было тихо и свежо; повсюду пахло ремонтом: неразбавленной свежей краской на госпитале и вдовьих домах, побелкой на парапете Яузского моста. В слободе все было светлое: бежевое и голубое; те яркие изумрудные, виридиановые и лазурные (на пляже с синими стрекозами и глиной) тона, казалось, не ненавистны, а всего лишь неизвестны москвичам. Яуза-река оказалась не свободной, не живой, не могущей вот-вот, когда ей вздумается, наступить и превратиться из мирной реки в опасную стихию; нет, Яуза оказалась закована москвичами в каменные кандалы — никому это так не бросалось в глаза, как только что приехавшим Елисею и его семье. До квартиры ехали на трамвае, даже трамваи тут были более блеклые и менее звучные. В них можно было смотреть фильмы на подвешенном для всех телевизорике, заряжать телефоны, ставить на колени переноску с Тучиком, только бы не глядеть в окно. В волосах у обеих Елиных сестер засохло по васильку: они продержались перелет, но не выдержали при виде московского речного плена. Елисей аккуратно снял их и выбросил в беспешную Яузу, которая, казалось, уже вовсе не стремилась и не хотела течь. Подъезд обжитого, далеко не нового дома три на Госпитальной переулке был окружен душистыми кустами сирени. Только в подъезде Елисей понял, что не заметил их. Они были прекрасны не менее, чем черемуховый куст на улице Ясеновской — и Елисей не заметил это тоже. Когда поднялись на третий этаж, мама остановилась напротив квартиры и... подпрыгнула, как девочка, один раз беззвучно хлопнув в ладоши.

Тогда Елю осенило: они радуются! Родители радуются переезду, им интересна новая, московская жизнь, их вдохновляет это. Впервые они оказались более открытыми к переменам, чем Елисей; снова консервативными были не они, а он.

Над металлической входной дверью, с внутренней стороны, висела еврейская хамса с поддельными изумрудами: амулет. Странный, неуместный здесь символ. Елисей сгорбился и вспомнил о двери в родительскую спальню, теплой и деревянной.

«Там даже название улицы было красивое — Ясеновская, а здесь — Госпитальный, — подумал Елисей, — и даже не улица, а недоулок».

Первым запустили Тучика.

Юркий, он вбежал в просторную (раза в два больше, чем в городке) квартиру, сделал круг по кухне, выбежал и забился под стоящий в детской комнате диван.

— Ну вот, — засмеялся папа, — это и есть самое энергоемкое место в нашем новом доме. Детская! Добро пожаловать!

Около полудня стали разбирать пакеты и коробки. Небо затянулось тучами, и в гостиной, где стояла одна мебель, включили свет. В одном из пакетов Елисей нашел вязаные занавески: их привезли с собой. Ему вспомнился вечер, когда он впервые узнал о затоплении; он понюхал занавески — остался ли на них тот малиновый, просвечивающий закат? Занавески пахли только самолетом и мамиными духами.

Пока сестры и мама занимались раскладыванием вещей, а папа переписывался с московскими знакомыми насчет работы, Еля заперся в детской. Он сел на кровать и стал изучать комнату. Та была пустой и оттого более свободной, чем должна была быть. Письменный стол примыкал к огромному окну (что не шло в сравнение с маленьким нефункциональным окошком их прошлого деревянного дома). Вдруг на колени к Еле шлепнулось что-то пушистое.

— Тучик, это ты! — Еля осторожно, кончиками двух пальцев, погладил холку своего серенького инопланетного друга. Тучик был настолько невесомый и мягкий, что на ощупь его легко было перепутать с кисточкой, губкой или квадратным кусочком фланели или шерсти.

Тучик ответил на ласку Елисея тем, что встал на все четыре лапки, а потом резко упал верхней частью туловища на большое любимое колено, непрерывно тыкаясь в него левым ушком и головой, оттопырив зад.

«У этого маленького существа затопили город, отняли родителей, а он нашел в себе силы быть таким нежным, — думал Елисей, снова и снова глядя Тучика. — Господи, какой он горяченький, прямо как пушистая печка».

— Еля, сходишь в магазин? — послышался из коридора голос мамы.

— Конечно, мам.

Елисей привстал — Тучик забивался в его ладонь, — снова сел, положил котика на кровать и поднялся.

— Тучик, я люблю тебя. Ты и эта девушка на теплоходе — те, с кем я хочу быть, — шепнул Елисей по секрету Тучику, уходя.

Чтобы дойти до магазина, Елисей открыл гугл-карты; это был первый раз, когда он открывал их после переезда: геолокация не успела смениться. Мгновение карты «думали» и показывали, будто телефон находится на Ясеневской. Елисей решился — обжег подушечку большого пальца об экран — и увидел фотографии своего города; он нажимал еще и еще. Вот школа, вот беседка, вот тропинка к кондитерской (улица Ягодная, восемь), вот куст «наш» на Ясеневской, вот автовокзал. Ой, а это кто? Да это же мама, развешивающая белье во дворе! Видимо, фотографии улиц делали именно в тот момент. Неужели все это будет погребено на дне реки? Неужели над колоколами церковью будут плавать рыбы? Можно, интересно будет спуститься к ним с аквалангом? Обновив карты, Еля увидел Москву. Он вставил в телефон наушники и вышел из подъезда.

Оказалось, магазин находится совсем рядом, во дворе того же дома, и Еля купил продукты по списку, который написала мама, за десять минут (в Елиной семье списки продуктов писали не в заметках на телефоне и не в чатах, а на бумажках, по старинке; папа однажды даже попробовал не писать продукты словами, а рисовать их). В четыре дня он с сестрами были приглашены на знакомство с классными руководителями в новую школу; время оставалось, и Еля решил погулять.

Восточнее дома располагались так называемые вдовьи дома: в них селились вдовы погибших или жены раненых во время войны, пока те лечились в госпитале Бурденко, находившемся напротив. Немецкой слободой район, где поселилась Елина семья, называли потому, что раньше здесь селились «немцы» — европейцы разных национальностей, часто приглашенные иностранные специалисты, словом, все те, кто плохо говорил на русском языке. Елисей обошел Лефортовский парк, здесь пруд тоже был «пленен», закован в низкие, но все же искусственные берега-оковы.

— Москвичи не оставляют никому свободы, ни себе, ни воде, — буркнул Еля.

Парк был пуст (видимо, из-за приближающегося дождя); только на одной лавочке сидели трое школьников, на год или два младше Елисея: с портфелями, контейнерами с едой и телефонами в руках. Елисею стало любопытно послушать, о чем они разговаривают, и он сел рядом. Школьники листали видео на ютубе и комментировали их. Сначала речь шла о недавно вышедшей серии популярного аниме-сериала, потом об одноклассниках. Елисей хотел было встать, но неожиданно услышал кое-что знакомое. Имя своего города.

— Они че, реально на теплоходах отчаливали? Прямо как в средние века!

— Дурак ты, в средние века теплоходов не было.

— Выходит, там весь город затопило? Вот это да! Я б остался!

Еля улыбнулся. До сих пор он не обдумывал все сюр и неестественность случившегося с его городом происшествия. Ведь это действительно «вот это да». Когда-нибудь об этом можно написать целую книгу.

Выйдя из парка, Елисей направился в другую сторону района и остановился около Яузского моста. Он встал, облокотившись грудью на теплые перила, и решил просто смотреть вдаль, пока не поймет что-нибудь важное. Еля не считал, сколько проходит времени.

— Мост, видимо, разделяет всю эту московскую галиматью на два района: Лефортово и Басманный.

Еля вздрогнул от знакомого ему девичьего голоса, раздавшегося прямо под ухом. Он вдохнул побольше воздуха и ощутил нежный, фруктовый аромат кожи и духов.

— Боже мой! Есения!

— Ба! Удивился?

Солнце трогало волосы Есени — тучи на небе разошлись, пока Елисей стоял над рекой — и застаивалось в рыжих ресницах вытянутых, по-кошачьи подведенных глаз. Сегодня она была в красном платье, которое туго обтягивало ее бедра, и колготках, слишком плотных для мая.

— Шла, тебя увидела, остановилась. Шутка! Очень хотела тебя встретить.

— Откуда ты знала, что мы тут живем?

— Слышала, как вы вчера заказывали такси.

— Я тоже хотел тебя встретить.

Есения посмотрела на него без удивления, и Елисей обратил внимание, какое у нее спокойное, женственное лицо и какая уверенная, не свойственная юности мимика. Снова приятный ток разлился по Елиному телу, и он почувствовал, что рядом с этой девушкой ему уютно, как дома.

— Мы живем в Басманном районе, на Ладожской, двенадцать, в седьмой квартире, а вы — в Лефортово, — Есения засмеялась, и Елисею стали видны ее острые сахарные зубы, прямо как Капулетти и Монтекки.

Елисей сделал вид, что смотрит туда, где кончается Лефортово и начинается Басманный, а сам в это время думал о том, как незаметно придвинуться к Есени еще ближе.

— Скучаешь по дому? — вдруг спросила Есения.

— Нет, — ответил Елисей.

— То есть как нет? Ты чего, — возмутилась Есения, — поделишься рецептом?

— Не поделюсь. Я так ответил, потому что это глупый вопрос «Скучаешь ли?», — повторил, кривляясь, Елисей, — скучаю, я очень скучаю, я жить без дома не научился, вот что!

Есения не смогла скрыть добрую, едва заметную усмешку, заботливую, как у матери, когда ребенок еще не открыл чего-то, чего ей давно известно, и наслаждается поиском. Елисея это разозлило.

— Ты, ты... — начала Есения, и его нога прижалась к ее худенькой и крепкой ножке, — не поступай так с собой.

— Почему?

— Не ставь на себе крест из-за города. Это мой дед с ума сходит, он прожил там прекрасные полвека. А мы-то что? Все только начинается! Елисей, мне тоже больно. Но смотри, смотри же, сколько вокруг восхитительного...

— Знаю, Есения. Тем не менее я не могу избавиться от чувства, что мне хочется вернуть время вспять, родиться в другом городе — который не затопят — и прожить идеальную, неуязвимую жизнь.

— Неуязвимой жизни не бывает.

— Какой, — Еля развернул корпус к Есени и взял ее за руку, — твой самый большой страх?

Вместо ответа Есения крепко сжала Елину руку и положила получившийся замок на перила. Они молчали.

— Мой, — продолжил Елисей и показал Есени заставку на своем телефоне, — что я либо забуду город, либо не смогу туда вернуться. Одно из двух. Что в старости, возрастом, как твой дед, я буду плакать при виде этих фотографий. Я хочу... хочу родиться в другом городе и не знать наводнения; родиться последним, а не первым, чтобы у меня был крутой старший брат; быть не в семье пекаря, а, например... Нет, свою семью пекаря я люблю. Хочу не потерять бабушку в детстве, хочу талантов побольше, хочу возможность вернуться в родительский дом. Ну, как тебе?

— Глупо. Если ты занимаешься всей этой ерундой — анализируешь то, чего тебе не хватает, — кто же вместо тебя будет все это время жить?

Елисей почувствовал, что пальцы Есени пульсируют от волнения, хотя выражение ее лица было все так же сдержанно и спокойно. Елю задела слова Есени. Что-то внутри его говорило, что она права. Ему было хорошо с ней, так хорошо, как не было ни с кем, даже с родителями; но чем дольше они были вместе, тем дольше Еля понимал, что она — здорова, а он — болен, и что исправлять это слишком сложно, и он не знает как.

— Хочешь испечь у меня торт? — внезапно спросила Есения.

— Что?

— Пойти ко мне домой, испечь торт, поболтать и вместе его съесть. Хочешь?

— Нет.

Есения оторвала лежавшую под Елиными пальцами руку. На костяшках остались вьедливые черные следы от покрытия перил моста. Есения приложила свои черные пальцы к Елиной щеке и поцеловала его в губы («Первый, первый поцелуй», — сипел беззвучно Елисей), а потом пожала плечами и ушла.

Развернувшись вполоборота на полпути, она крикнула:

— Мой самый большой страх — жить в соответствии со своими страхами, понял?!

Долго еще Еля стоял около перил моста, пока не узнал, что уже четыре часа и что он опоздал на экскурсию с сестрами в новую школу. Написал папа и вместо обвинения сказал, что приятели, бывшие одноклассники, предложили ему работу в московской

пекарне, лучшей и исключительной; сообщением ниже папа добавил, что с новой зарплатой и опытом в такой авторитетной кондитерской им не очень просто, но вполне реально будет в скором времени открыть свою. Все налаживалось!

Разговор с Есенией не выходил у Елисея из головы. Еля жалел, что не обнял ее, не сумел в момент избавиться от собственных воспоминаний и страхов, таких бесполезных и таких разъедающих, блокирующих будущее. По дороге домой Еля заметил у бомжа монгольские тапки.

— Это не просто тапки, их шьют монголы. Такие у меня на родине продаются, — сказал ему Елисей и ускорил шаг.

С каждым пройденным по Москве метром Елисей все больше бился ладонями о клетку, выстроенную тоской. Елисей понимал, что это не просто тоска по дому — это тоска по такому дому, которого больше не существует.

## #7

На кухне все было расставлено так, как будто в квартире живут уже годы: специи в разноцветных, раскрашенных Катей баночках; ликер «Шартрез» и поворотный столик для тортов; кулленая в Екатеринбурге кружка (позолота которой портилась и сверкала в микроволновке), уже наполненная чаем; вязанные крючком акриловые накидки для кресел. На столе в незнакомой Елисею вазе стояли свеженькие влажные васильки. И где только папа их нашел?

Еля бросился в детскую. У окна стояли, болтая, сестры, у ножек кровати — миска, на которой малиновой витражной краской была нарисована туча с мордочкой кота. Елисей схватил Тучика, отчего тот протяжно пискнул, и понес его к реке. Небо, чуть сиреневое, спускалось над персиково-белыми вдовьими домами. Накрапывал дождь, и в асфальте, как в зеркале, отражались первые вечерние огоньки. Москва стала призрачно-легкой, как витраж. Спустившись под мост, Елисей сел на корточки и резким движением опустил Тучика в реку. Котенок бултыхался, уводя под живот передними лапками воду, но вода все не кончалась, ее было много, как и Елиного страха. Еля давил на крошечную шейку Тучика и не давал ему вдохнуть.

Как много, как бесконечно много он обрел во время переезда, думал Елисей, и Есению, которая так смешно носит свою мальчишескую прическу и так нежно прикладывает свои пальцы к его щеке; и Тучика, который пищит, когда до него дотрагиваешься, как кнопка; и даже, наверное, новую семейную пекарню. Еля думал об этом, но топил, топил... Он топил Тучика не так и не с той же целью, с которой Герасим топил Муму — чтобы стать свободным, чтобы стереть единственное имя, которое умеет произнести. Еля топил от бессилия. Для обретения покоя в душе требовалось слишком многое, и он хотел уничтожить последнюю возможность стараться.

Что-то горяче-лучистое затрепыхалось у Ели под легким, что трепещется в моменты истины, когда человек прозревает, что любые травмы можно излечить. Еля отдернул руку, вырвал котенка из воды. И в это время Тучик сильнее прежнего и один раз дернулся, а Еля заплакал.

...Мокрый, с котенком на вытянутых руках, Еля стоял перед дверью Есени, готовый, что его навсегда оттолкнут, размажут, как сделал это затопленный город. Но Есения взяла ослабевшего Тучика и вытерла его о подол сатинового бежевого сарафана. Она помыла Елины руки горячей водой, а когда давала ему сухую футболку, оба безмолвно решили, что наше детство и наши травмы — только застрявшая в зубах кукуруза, а зубочистка — нынешние принятие и любовь. Впереди была неукротимая вечность. Позади оставались смирительные рукава Язуы-реки.